Познакомились мы раньше, чем на площади, а подружились позже — в общем-то, сначала заочно, пока Вадим сидел. Пока в течение нескольких дней шли обсуждения места и времени будущей демонстрации, был и такой разговор: «Только Вадику Делоне не говорите: с нами ещё бабушка надвое сказала, а на нём уже и так условный срок висит». Не помню даже, я это сказала или Лариса[1], но мысль эта была нашей общей. Сомнений в том, что он, если узнает, точно пойдёт, ни у кого не было. И всё-таки он на площади появился.

И это было хорошо. В его словах на суде о пяти минутах свободы на Красной площади, за которые не жалко заплатить годами лагеря, не было ни тени рисовки. Для всех нас была это невероятная радость, а для него ещё и искупление за продолжавшее его мучить не вполне идеальное поведение на предыдущем суде. (Написав «не вполне идеальное», я не иронизирую: оно действительно было всего лишь не на все сто процентов идеальным. В последнем слове, наслушавшись адвоката, который сваливал всю вину на тех, кто втянул бедного мальчика в нехорошие дела, Вадим возмутился и практически взял назад даже то частичное признание вины, которым начал процесс. Просто суд в своём приговоре предпочёл этого не заметить и изобразил Вадима раскаявшимся. А общественное мнение в те времена было непримиримым — позже и худшие вещи прощались куда легче).

Нет, пожалуй, мы всё-таки подружились не заочно, а за те три часа, что провели в «полтиннике» — 50-м отделении милиции на Пушкинской улице, ему уже хорошо знакомом по прошлой демонстрации. Наверно, именно здесь (на площади было не до эмо-

---

[1] Лариса Иосифовна Богораз (1929–2004) — лингвист, правозащитница, публицист, участница Демонстрации протеста 25 августа 1968 года.

ций) и возникло между всеми нами то ощущение, которое я после смерти Вадима сформулировала словами «Ближе брата…» Потом был суд. Хоть и подельница, я была по эту сторону, «у закрытых дверей открытого суда» (формулировка Ильи Габая — увы, тоже покойного). Всё, что я могла сделать, — это по клочкам записей, сделанных в зале суда теми, кто был туда допущен, восстанавливать тексты — сначала, в спешном порядке, последних слов, а потом и всей записи суда. Последнее слово Вадима всех поразило. По молодости, по лирическому темпераменту от него ждали — ну, что ли, поэтических завихрений, красот. А оно было сдержанное, глубокое, проникновенное, без экзальтации, мудрое и, в общем-то, негромкое — тем весомее и громче оно звучало. Это впечатление подтвердила потом Софья Васильевна Калистратова, защищавшая Вадима: «Нам, защитникам, Вадим — тем, как он вёл себя и что говорил в ходе процесса, — подсказал не одну чисто юридическую идею». Это Вадим, мальчишка! И ещё позже, когда уже был готов «Полдень»[2] с полной записью процесса, одна из добровольных машинисток, перепечатывавших рукопись, сказала мне: «А Делоне-то! Моложе всех, а какая точность, безошибочность в каждом слове, в каждом ответе!»

В приговоре Вадима «переродили», то есть переменили ему и дату, и место рождения. Судья Лубенцова, по кличке Лубянцева, не дала себе труда посмотреть в дело: она списала данные прямо с предыдущего приговора, только ошиблась строчкой, и «данные» были не Делоне, а Кушева. Софья Васильевна на кассации доказывала, что это достаточное основание для отмены приговора, поскольку по всей формальности приговор вынесен некоему другому Вадиму Делоне, родившемуся не там и не тогда, но кассационный суд — хоть и не имел на то права — постановил просто исправить ошибочку. И другую — тоже: Лубянцева со заседатели приговорили Вадика к двум годам «плюс год неотбытого срока», чтоб было ровно три. Когда на кассации обнаружилось, что из этого года Вадим восемь месяцев отсидел, ему дали вместо двух два с половиной (чего кассационный суд делать опять-таки не вправе: он может либо утвердить приговор, либо смягчить, либо отправить дело на новое судебное рассмотрение). И опять

---

[2] *Горбаневская Н.* Полдень: Дело о демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади. — М.: Новое издательство, 2007.

мы стояли у закрытых дверей, только теперь не на улице, а в коридорах Верховного Суда РСФСР на ул. Куйбышева. А потом этот верховный-верховный суд зачитал своё постановление, отпечатанное на машинке, и в машинописном тексте от руки были исправлены дата и место рождения Вадима: постановление было готово до заседания.

Чего я вдалась в эти крючкотворства, которые вроде бы вовсе и не воспоминания о Вадиме? Не знаю, но мне кажется — он был бы доволен, что, вспоминая его, я вспоминаю и все эти, с ним, в конце концов, связанные детали. Мы все были в той или иной степени крючкотворами в те годы, и это, надо сказать, здорово бесило судебные и следственные власти.

В начале ноября 69-го в Новосибирском аэропорту (так и хочется сказать: на Новосибирской пересылке — из-за слова «пересадка», или память рассказов о том, с каким грохотом, с какой обалденной популярностью проехал Вадим за год до того по всем уральским и сибирским пересылкам) я написала Вадиму длинное письмо, в которое ухитрилась всунуть даже новости о последнем политическом процессе с участием Софьи Васильевны Калистратовой. И письмо проскочило цензуру, хотя Вадим не получал почти ничего: все задерживали. Но об этом я узнала только в 72-м году, освободившись сама, когда Вадим уже несколько месяцев был на свободе. В Доме композиторов показывали фильм «Бумбараш», а в своём кругу Юлик Ким менял слова песенки и пел, обращаясь к Ире Белогородской[3]: «Ты стояла с одним молодым демонстрантом…»

Потом пошло печальное. Вскоре Иру посадили. Вадим бегал с передачками, вечером работал осветителем в Зале Чайковского. «А ты в тюрьме, и больше силы нет ни бросить, ни закончить строки эти. Прости, что не увёз тебя от бед…»

…В декабре 1975 года, на месяц позже Ирины и Вадима, я приехала в Вену, и с тех пор, в принципе, мы уже не расставались, хоть иногда не видались неделями, а то и месяцами. Перезванивались по телефону, не раз — по телефону же — с Вадимом переругивались, но не поссорились ни разу.

Мы как-то все друг друга «встречали»: то они, «старожилы», встречали меня в Вене, то я — уже чуть ли не два месяца парижанка (хоть и жила в предместье) — водила их по Парижу, то они ста-

---

[3] Жена Вадима Делоне.

ли настоящими парижанами, жителями бульвара Сен-Мишель, а я только-только перебиралась по-настоящему в Париж из своих кретейских Черёмушек. В Вене Вадим подружился с моим младшим сыном — это было то же самое чувство: «ближе брата». Иначе как «подельничек» он Оську никогда не называл, а семилетний подельник, дорвавшись до венского Пратера, вытряс из Вадьки всё его месячное беженское пособие. Но Вадику было не жалко. А может быть, и повадка эта наглая напомнила ему уголовный лагерь, о котором теперь он вспоминал ностальгически.

Ностальгия его тоже не была рисовкой — это было ясно даже мне, патологически неспособной к ностальгии. Я помню, как в первый вечер я водила Вадима и Иру по Парижу: они глядели и не видели. Чуточку отошли только на Сен-Мишеле (после жизни на мрачной улочке у ворот Клиши, которая любви к Парижу явно не способствовала). Здесь, в квартирке под крышей, с окнами на Люксембургский сад, Вадим мне признался: «Более-менее я с ним примирился, с твоим Парижем…»

Как только мы перебрались и поселились по соседству, Вадим повёл меня в угловое кафе, где хозяин его невероятно уважал. На каком языке Вадим с ним разговаривал — непонятно, но всё сумел рассказать, и, появившись там первый раз, я обнаружила, что все: и хозяин, и постоянные посетители — знают не только что это «поэт рюсс», но и про демонстрацию, и про лагерь. И каждый раз, когда Вадим с Ириной давно уже съехали оттуда на — как назло, опять мрачную — Азиль де Попенкур, хозяин всё меня спрашивал: «Ну, как Вадим?» И я сообщала очередные новости. Пока не пришла с последней…

Люксембургский сад попал даже в стихи Вадима. Конечно, в ностальгическом контексте и рифмуясь с Петербургом, но даже и это казалось мне какой-то надеждой на чуть большую открытость к тутошней жизни, хотя бы чуть большее приятие чужого пейзажа. Впрочем, пейзаж был довольно родимый:

— Захожу, понимаешь, в Люксембург, — восторженно рассказывал Вадим, не выговаривая половины букв, но зато великолепно грассируя, — а там сидят на травке Ентин с Хвостенко, и бутылка красного вина…

И не просто встреча с дорогими приятелями его так восторгала, а неожиданный посреди города Парижа русский дух, та Русь, которой веселие и невеселие — одно и то же.

Нет, он так до конца и не смог смириться с тем, что он — «тут», а не «там». Заботы о друзьях, оставшихся в России (заботы не только душевные, но и постоянные материальные: посылки с каждой оказией, раздобывание лекарств и хлопотливая их переправка), помогали ему самому жить, поддерживали его. Но постоянно сверлившая мысль (не холодная головная мысль, а мысль-эмоция, чувство, ощущение), что лучше хоть в лагере, да «там», — она, конечно, давала тему стихам, заставляла биться их пульс, но его съедала, его собственный пульс останавливала и останавливала, пока совсем не остановила.

…Вместе с последним дошедшим до Вадика письмом его горячо любимого друга Юлика Кима Ира опустила на гроб и эти стихи. Поэтому я решаюсь ими закончить.

Н. Горбаневская

ЭПИТАФИЯ

Ближе брата, первым из семерых,
самый младший — туда, где возврата нету.
Сладкой жизни слаще ли был семерик,
чем кайло и лопата по мёрзлому снегу?
Так — уснуть и проснуться подальше земли,
за запреткою, над КПП и брусчаткой…
За колючими звёздами нас отмоли,
удели нам скорыя помощи братской.

Статья воспроизводится по официальному сайту Вадима Делоне: http://vadim-delaunay.org/about#13